Роман с Блоком

Автор:
Никита Филатов

Роман с Блоком

Никита Александрович Филатов

Исторический детектив (Крылов)

«Роман с Блоком» – это остросюжетный исторический детектив, написанный по реальным событиям признанным мастером этого жанра, председателем Петербургского детективного клуба Никитой Филатовым.

Какова роль поэта и гражданина перед лицом опасности, угрожающей Отечеству? В годы Первой мировой войны Александр Блок сделал для себя нелегкий выбор и отправился в действующую армию, в то время как большинство представителей так называемой «творческой интеллигенции» предпочло отсидеться с газеткой на кушетке.

После Февральской революции Блок стал секретарем Чрезвычайной следственной комиссии в Петрограде. Поэт и чекист погрузился в хитросплетение дворцовых интриг, в мир военного шпионажа и агентурной работы тайной полиции.

Среди персонажей «Романа о Блоке» – его жена и мать, поэты Николай Гумилёв, Андрей Белый и Анна Ахматова, руководитель Департамента полиции Степан Белецкий, начинающий литератор Корней Чуковский, знаменитый присяжный поверенный Николай Муравьев и даже будущий нарком НКВД Генрих Ягода.

«Роман с Блоком» отличает достоверность. Автор наглядно и доказательно развеивает мифы, связанные с последними годами жизни и творчества великого поэта в советской России.

Никита Филатов

Роман с Блоком

Пролог

Я – не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна.

Помяни ж за раннею обедней

Мила друга, светлая жена!

Александр Блок

Невысоко, под облаками, пролетел германский аэроплан.

Через какое-то время он, как обычно, развернулся над болотом и полетел обратно, в направлении передовых позиций.

Было скучно и холодно. Многочисленные водоемы и просто глубокие лужи укрыл настоявшийся лед, земля совершенно промерзла, а деревья в лесу чуть ли не до макушек засыпало снегом…

Александр Блок достал из серебряного подаренного женой портсигара дешевую папиросу, закурил и по привычке прислушался к себе, чтобы найти подходящую рифму, строку или образ. Однако сочинитель в нем решительно не хотел отзываться – голова Блока в последнее время была занята исключительно нормами выработки, продовольственным обеспечением для рабочих, строительными материалами, овсом и лошадьми…

А ведь к началу германской войны он по праву считался одним из самых выдающихся поэтов России, безусловным авторитетом в поэзии и настоящим явлением в русской культуре начала двадцатого века. В отличие от сочинений великого множества отечественных стихотворцев, книги Блока выходят и раскупаются большими тиражами, а его самого называют едва ли не единственным преемником Пушкина.

И каждый вечер, в час назначенный,

(Иль это только снится мне?)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,

Всегда без спутников, одна,

Дыша духами и туманами,

Она садится у окна…

Настоящая слава пришла к поэту достаточно давно, после цикла «Стихов о Прекрасной Даме». В поэзии Блока звучала некая чарующая музыка, они были наполнены символизмом и лирикой, сочетая в себе нечто самое повседневное, бытовое – и совершенно мистическое, требующее, по убеждению критиков, не понимания даже, а подлинной веры.

Рожденные в года глухие

Пути не помнят своего.

Мы – дети страшных лет России —

Забыть не в силах ничего…

В свое время кто-то из литераторов написал, что особенностью поэтического стиля Блока является метафорическое восприятие мира. Он и сам признавал это за основное свойство истинного поэта, для которого романтическое преображение мира с помощью метафоры – вовсе не произвольная игра со словом, а единственный подлинный способ прикосновения к таинству жизни и

смерти.

И вот сейчас, в десяти верстах от передовых оборонительных позиций, даже само слово «метафора» показалось ему совершенно чужим и холодным, будто оставленная под дождем за ненадобностью старенькая фаянсовая тарелка. Этого понятия, как и многих других, не существовало в обиходе у подавляющего большинства людей, которые составляли теперь круг общения Блока, а сравнения и определения, которыми пользовались при разговорах между собой лесорубы, нарядчики, нижние чины и даже армейские офицеры, большей частью носили характер довольно похабный и грубый.

В минувшем ноябре поэту Александру Блоку исполнилось тридцать шесть лет. На три года больше, чем было Спасителю, когда он завершил свой земной путь…

Перед войною Блок состоял на учете как необученный ратник второго разряда. Это означало, что он мог быть в любой момент призван и отправлен на фронт в качестве обыкновенного рядового. Имелась, правда, еще возможность поступить в армию вольноопределяющимся, однако озаботиться этим следовало бы заранее, а долгое время поэт не желал даже слышать о своем участии в мировой войне. Друзьям он рассказывал, что скорее согласится на самоубийство, чем отправится на фронт, – и продолжал говорить это даже после того, как жена его, Любовь Дмитриевна, дочь великого химика Менделеева, поступила работать сестрой милосердия в госпиталь. Отчим Блока командовал бригадой и в октябре уже принял участие в боевых действиях. Вслед за ним из Петербурга выехала и мать поэта.

«Уж если я не пошел в революцию, то на войну и подавно идти не стоит», – посмеивался, однако, Блок. В поэтической среде тогда считаться патриотом было неприлично.

Исключения лишь подтверждали правило. Добровольцем уходит под пули Николай Гумилев, награжденный двумя Георгиями и получивший офицерский чин в конце войны. Поэт-имажинист Бенедикт Лившиц на фронте принимает православие и также награждается крестом за храбрость. Получает боевое ранение футурист Николай Асеев… Остальные участники и завсегдатаи столичных литературных салонов стараются всеми способами уклониться от армии либо пристроиться на безопасную должность в тылу – как Борис Пастернак, Маяковский или модный Есенин, который отбывал воинскую повинность при санитарной роте в Царском Селе.

А у Блока тем временем выходит патриотический сборник «Стихи о России», он заканчивает свой «Соловьиный сад» и продолжает трудиться над новой поэмой «Возмездие». Тем более, что возраст у Александра Александровича непризывной, а любая война, даже самая мировая, рано или поздно заканчивается.

«На мои книги большой спрос, – писал он матери в мае шестнадцатого, – присланные из Москвы партии распродаются складом в несколько часов, так что у меня до сих пор нет авторских экземпляров… Мои книжные дела блестящи. «Театра» в две недели распродано около 2000, и мы приступаем уже к новому изданию…».

Однако еще до начала дождливого, жаркого лета тысяча девятьсот шестнадцатого года российская армия понесла такие огромные, поистине невосполнимые потери в солдатах и в кадровом офицерском составе, что был объявлен призыв под ружье резервистов восьмидесятого года рождения.

Служить или не служить?

Александр Блок почти не боялся ранения или смерти – хотя бы потому, что немного знал о них по-настоящему. Значительно больше тогда напугали его, потомственного городского обитателя, нечеловеческие бытовые условия предстоящей казарменной жизни, жуткие запахи, грязь и теснота бараков, опасность заразиться, лежа вповалку или питаясь из общего котла…

Форма тоже ему полагалась почти офицерская – кортик, узкие серебряные погоны на гимнастерке и бриджи, заправленные в высокие сапоги…

«Король поэтов» Игорь Северянин в подобной ситуации – как, впрочем, и подавляющее большинство диванных патриотов – «организовал» себе освобождение от армии «по нервному здоровью». Блок посчитал это ниже своего достоинства. К тому же, в его семейных отношениях опять наступил период взаимных упреков, размолвок и обоюдного непонимания. Кратковременные

романы на стороне теперь приносили одни только хлопоты, и все чаще заканчивались скандалами. Появились долги и возникли проблемы со сном – так что мировая война оказалась достаточно уважительным поводом для того, чтобы убежать куда-нибудь подальше от жены, от любовницы, от восторженных и навязчивых почитателей, от постоянной погони за гонорарами…

Как бы то ни было, влиятельные родственники и друзья, а также поклонники его таланта все-таки постарались устроить судьбу выдающегося поэта – его зачислили табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Союза земств и городов. Такая должность фактически обеспечивала Блоку офицерское положение, пятьдесят рублей жалованья и бесплатный проезд во втором классе. Форма тоже ему полагалась почти офицерская – кортик, узкие серебряные погоны на гимнастерке и бриджи, заправленные в высокие сапоги. Именно за такой великолепный и необычайно воинственный наряд чиновников Союза земств и городов в народе называли земгусарами…

В июле, после короткого отпуска, Александр Блок отправился из Петрограда к месту службы, на русско-германский фронт, имея при себе огромный чемодан и американский револьвер без патронов, который на прощание подарила ему матушка.

Инженерно-строительная дружина, в которую попал поэт, дислоцировалась в прифронтовой полосе, в районе Пинских болот. Дружина занималась оборудованием большой и сложной системы запасных оборонительных позиций. Работы было много. Мобилизованные рабочие вырубали деревья, расчищая сектора обстрела, рыли в несколько линий ходы сообщения и окопы, поправляли старые блиндажи, оборудовали пулеметные гнезда, натягивали колючую проволоку, вколачивая специальные колья. В основном состояли в дружине оборванные, плохо экипированные и накормленные представители национальных окраин Российской империи – туркмены, узбеки, башкиры, среди которых попадались даже недавние каторжники, прежде срока отпущенные с Сахалина.

Поначалу вновь прибывший табельщик вел какой-то несложный учет, затем Блока отметили за аккуратность и педантичность и назначили исполнять обязанности заведующего партией.

Под началом у него оказалось почти две тысячи строителей, так что Александр Блок почти постоянно был вынужден находиться в лесу, где велись основные работы. До темноты он успевал объехать верхом все строительные объекты, а по вечерам составлял бесконечные справки и табели установленной формы. От передовых позиций его отделяло теперь не более десяти верст, так что перекаты артиллерийских дуэлей достаточно скоро уже воспринимались недавним столичным поэтом как нечто обыденное и привычное.

На военной службе. 2016 год.

Кстати, и с бытовыми условиями, из-за которых он так беспокоился, тоже все оказалось не так уж и плохо. По большей части Блок жил при штабе – в имении князя Друцкого-Любецкого, расположенном в нескольких верстах от места основных строительных работ, на берегу реки со смешным и каким-то уютным названием Бобрик. Хозяева называли свой большой усадебный дом с белыми колоннами на старый польский манер – «палац», и окружал его парк со столетними липами, за оградой которого сразу же начинались привычные для Полесья болота и пустоши…

Дом оказался сильно разорен войною. Значительная часть мебели была переломана, стекла в некоторых помещениях выбиты, да к тому же какие-то негодяи без всякого смысла порезали и попортили старинные картины в золоченых рамах. Тем не менее князь и его супруга встречали всех русских военных чиновников и офицеров гостеприимно и радушно, так что постепенно в усадьбе возникло некоторое подобие светской жизни.

Его сиятельство князь Иероним Эдвинович Друцкий-Любецкий, потомок старинного славного рода, непременно показывал тем, кто заслужил его доверие, многочисленные грамоты и рескрипты, подписанные польскими королями, государем Петром Первым и Екатериной Великой. Сам он родился в год крестьянской реформы, окончил Санкт-Петербургский университет по юридическому факультету, немного послужил в гвардейской артиллерии, а впоследствии избирался от Минской губернии членом Государственной думы и Государственного совета.

Помимо активной общественной деятельности его сиятельство когда-то уделял внимание и литературным занятиям – сочинял военно-исторические драмы, которые ставились даже в театрах Вильно.

Хозяин усадьбы был несколько чудаковат, своей маленькой коренастой фигурой напоминал паука и носил седые бакенбарды. Время от времени он бесшумно проходил по дому, внезапно появлялся на пороге комнаты или на повороте лестницы – и почти сразу же исчезал в темноте коридора… Кроме того, князь по секрету сообщил однажды своим постояльцам, что ему известна безошибочная система игры в рулетку, и поэтому он с нетерпением ожидает конца войны, чтобы разбить банк в Монте-Карло.

Его жена – тридцатилетняя золотоволосая женщина, невыносимо скучавшая по развлечениям и приличному обществу, – устраивала для офицеров и военных чиновников вечеринки, на которых почти неизменно присутствовал Александр Блок. Она считалась достаточно образованной женщиной, любила книги и была, разумеется, страстной поклонницей его творчества. Княгиня даже имела в домашней библиотеке его поэтический сборник «Ночные часы» и еще несколько журналов со стихами, изданными перед самой войной, так что хозяевам было приятно и лестно оказывать покровительство известному столичному поэту, которого волею судеб и ветром войны занесло к ним, в глухую провинцию. Сам же Блок – скорее, из чувства признательности, чем по собственному желанию, – время от времени за столом декламировал князю, княгине и оказавшимся при штабе сослуживцам свои знаменитые строки:

Превратила все в шутку сначала,

Поняла – принялась укорять,

Головою красивой качала,

Стала слезы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,

Неожиданно все позабыв.

Вдруг припомнила все – зарыдала,

Десять шпилек на стол уронив…

Или совершенно иное, но такое же неповторимое:

Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели;

Молчали желтые и синие,

В зеленых плакали и пели…

А случалось, под настроение, подходящее случаю:

Доколе матери тужить?

Доколе коршуну кружить?

Постоянно отказываться от чтения своих стихов было бы неучтиво для гостя, которого с таким радушием принимали в усадьбе. Однако написать за прошедшие месяцы хотя бы пару новых строк поэт себя так и не заставил, несмотря на постоянные уговоры княгини и сослуживцев, на пирожные с настоящим китайским чаем, которые подавали хозяева, и на прочие знаки внимания.

Впрочем, даже если поэту по обстоятельствам службы не удавалось вернуться в усадьбу и приходилось задерживаться на строительстве, то ночь он проводил не где-нибудь, а в деревне неподалеку – в просторной и чистой избе, специально выделенной для начальства. Блохи в ней были практически полностью выведены, а хозяйские дочери, во избежание неприятностей определенного рода, были отправлены жить на чердак. В теплой комнате с печью и общим столом обитал сам хозяин с хозяйкой и кошкой. В двух других ночевали по три постояльца – так что каждому, не исключая Александра Блока, полагалась своя персональная походная койка с постельным бельем. Питались вскладчину казенным продовольствием. Горячую еду на всех готовила жена хозяина, она же и обстирывала господ военных. Повезло и в отношении соседей – вместе с Блоком в избе проживали, к примеру, математик Идельсон, начинающий архитектор Катонин и даже потомок великого композитора Глинка, проходившие службу все в той же дружине…

Деревенька называлась Колбы, от остального мира ее отделяли предательские болота и непролазное бездорожье – однако же оказаться в окопе на передовой,

или даже в землянках, которые предназначались для нижних чинов, было бы несопоставимо хуже. Быт наладился. Жизнь поэта на войне текла размеренно, спокойно и достаточно благополучно. По вечерам в избе, при теплом свете керосинки, Блок играл в шахматы с другими постояльцами – а вот писать стихи, читать их товарищам или даже просто говорить о литературе ему и здесь нисколько не хотелось…

Надо сказать, что свое положение Александр Блок переносил поначалу довольно легко, и даже не без удовольствия. Верховая езда, простая пища и долгие часы на свежем воздухе заметно укрепили его физически, и теперь он вполне мог заснуть, когда рядом громко разговаривали несколько человек, мог не умываться целый день, подолгу обходиться без чая, скакать утром в карьер и еще затемно выписывать какие-то бумаги…

«Во всем этом много хорошего, – сообщал Александр Александрович матери, – но, когда это прекратится, все покажется сном».

Однако с наступлением зимы настроение его начинает заметно меняться. Поэт все чаще испытывает приступы тоски от монотонного, однообразного существования, от нескончаемых справок, отчетов и разговоров о том, сколько кто выбросил кубов, сколько вырыто ячеек и траверсов, отчего саперы замедляют с трассировкой…

«Жизнь складывается глупо, неприятно, нелепо и некрасиво. – записывает Блок. – Редкие дни бывает хорошо, все остальные – бестолково, противоречиво и мелочно. Надоедает мне такая жизнь временами смертельно… Современные люди в большом количестве хороши разве на открытом воздухе, но жить с ними в одном хлеву долгое время бывает тягостно».

Новый тысяча девятьсот семнадцатый год Александр Александрович встретил в княжеской усадьбе. Было много хорошей и вкусной еды, белоснежная скатерть, фамильное серебро и даже настоящее французское шампанское…

Но уже на следующий день Блок записал в дневнике:

«Мне вообще здесь трудно, и должность собачья, и надоело порядочно…»

Каждый день газеты и письма от близких приносят множество противоречивых вестей, но не их с нетерпением дожидается Блок. Сообщения о победах и отступлениях русской армии ему почти безразличны – поэт понимает, что сам он теперь, как и все остальные, – лишь маленький винтик огромной военной машины. Вот, жена получила приглашение в разъездную театральную труппу… мать поместили в лечебницу, она в тяжелом состоянии… отчима произвели в генералы, и он сражается где-то в Галиции… Дальше что? Сепаратный мир с немцами? Об этом уже не стесняются разговаривать вслух и писать, но пока ничто не предвещает окончания кровавой бойни. Падение насквозь прогнившего самодержавия? Ну, да, наверняка… когда-нибудь… конечно…

«Мне вообще здесь трудно, и должность собачья, и надоело порядочно…»

Окончательно и бесповоротно решение выбираться в Петроград любыми средствами было принято Блоком в середине января, после встречи со старинным знакомым по литературному цеху Алексеем Толстым. По правде говоря, в приличном обществе перед войною этого щеголя и болтуна недолюбливали – однако же, что нередко случается на передовой или возле нее, заведующий строительными работами Александр Блок и военный корреспондент граф Толстой в этот раз повстречались как самые близкие люди.

Граф решил прокатиться на фронт за компанию – в качестве сопровождающего при каком-то очередном генерале, которого послали проводить ревизию строительных работ. Они встретились рядом со станцией, в светлом и жарко натопленном домике, где стучали ключами телеграфисты. Удивились друг другу, обрадовались и постарались побыстрее покончить со скучными конторскими делами. Когда сведения о башкирах, состоявших в дружине, были отосланы к генералу, Алексей Толстой и Александр Блок пошли гулять по железнодорожной станции. Граф с большим упоением передавал разнообразные светские сплетни, как всегда остроумно и едко оценивал политические события, новости литературы, театральные постановки, актеров, актрис, восходящие звезды богемы и общих знакомых. Блок в ответ изо всех сил старался казаться веселым, изображал удовлетворение жизнью, рассказал, как здесь славно, как он из десятника дослужился до заведующего работами и сколько времени проводит, разъезжая верхом. Разумеется, поговорили также о надоевшей войне,

о зиме, о погоде, но когда граф спросил, пишет ли поэт сейчас что-нибудь, Блок покачал головой и ответил вполне равнодушно, что нет, ничего он не делает…

Граф решил прокатиться на фронт

Вместе с Алексеем Толстым, как оказалось, приехал из Петрограда на поезде также Дмитрий Кузьмин-Караваев, любитель поэзии и довоенный приятель Александра Блока, а теперь – уполномоченный комитета Всероссийского земского союза. Дмитрий Владимирович стихов никогда не писал, но не только входил в литературное объединение «Цех поэтов», а даже избирался одним из трех его руководителей. С наступлением сумерек они встретились возле вагонов, и от железнодорожных путей втроем пошли ужинать в княжескую усадьбу, где квартировал Александр Александрович. После ужина по-мужски, основательно выпили и почти до утра просидели за разговором о женщинах, о революции и о любви – причем граф Толстой постоянно срывался на пошлые анекдоты, а Кузьмин-Караваев почти неприлично форсил своим новым солдатским Георгием… Ранним утром столичные гости собрались и укатили со своим тыловым генералом обратно в столицу – получив, правда, на прощание с Блока торжественное обязательство отобедать всем вместе в «Медведе», когда все закончится…

Аэроплан уже скрылся из виду, но стрекотание двигателя отчего-то не затихало – напротив, оно снова начало приближаться и нарастать. И только спустя некоторое время, когда из-за лесного поворота появился военный автомобиль, поэт догадался, что теперь слышит звук мотора.

Блок поправил шинель на плечах и подумал, что осенью или весной ни за что бы ему сюда не доехать – все дороги в прифронтовой полосе превращались от паводков и дождей в непролазное месиво жирной грязи. В этой грязи не только машины, но даже телеги и пушки проваливались по самые оси, а несчастные лошади на второй или третьей версте уже окончательно выбивались из сил.

Однако сейчас, на исходе зимы, незнакомое и неожиданное авто с торопливой уверенностью в своих силах катилось по зимнику. В его кузове расположились несколько нижних чинов из пехотного батальона – и у каждого, к полному недоумению Блока, на груди красовался большой алый бант. Среди солдат и унтеров без труда можно было заметить единственного офицера. Молоденький чернильный прапорщик, с таким же, как у остальных, пронзительным, кроваво-красным бантом, стоял, удерживаясь на ходу обеими руками за высокий борт, и постоянно кричал в пустоту что-то громкое и восторженное…

Впрочем, слов его и особого смысла в них было не разобрать.

Автомобиль проехал вдоль деревни по направлению к передовым позициям. Александр Блок докурил папиросу, аккуратно придавил ее и вернулся обратно в избу – надо было доканчивать справку о выбывших по болезни рабочих.

Глава первая

1917 год

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя,

И с ненавистью, и с любовью!..

Александр Блок

От покоев Зимнего дворца до казематов Петропавловской крепости всегда и во всех смыслах было рукой подать. Сначала по набережной, потом через Троицкий мост…

Весной и летом первого революционного года и без того капризная природа вела себя в Петрограде почти так же непредсказуемо, как и люди. Например, в середине мая вдруг, ни с того ни с сего, пошел снег. Настоящий, густой,

сохранившийся даже какое-то время на мостовых. Потом тяжелою волною накатила долгая жара, которую сменили грозы, шквальный ветер и подъем воды Финского залива.

Сегодня, впрочем, погода стояла по-настоящему летняя, а с утра было солнечно и тепло, что в июле случатся изредка даже на берегах Невы. По такому случаю Николай Константинович Муравьев даже не стал вызывать казенный автомобиль.

– Александр Александрович, время есть… – посмотрел он на циферблат массивных золотых часов, которые вытянул из кармана жилета. – Может быть, по пути пообедаем?

Николаю Константиновичу не исполнилось еще пятидесяти, а пенсне, аккуратно подстриженные усы и бородка делали его поразительно похожим на писателя Чехова. До революции Муравьев был известным московским адвокатом и много выступал на политических процессах. Теперь он стал заместителем министра юстиции и председателем Чрезвычайной следственной комиссии, которую создало Временное правительство. В состав этого органа, который полностью именовался «Чрезвычайной следственной комиссией для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств», включены были не только военные и гражданские прокуроры в солидных чинах. Кроме них в Комиссии состояли еще и философы с именем, правоведы, историки и даже профессиональные революционеры – вроде члена ЦК партии эсеров Зензинова или видного социал-демократа Соколова.

– Да, пожалуй, с большим удовольствием, – кивнул Александр Блок.

Он был всего на десять лет младше спутника, однако выглядел значительно моложе – высокий, стройный, в обтягивающей защитной гимнастерке, в галифе и до блеска начищенных сапогах.

– Вот и славно, вот и славно… а то когда еще сегодня доведется?

После некоторых проволочек, связанных с оформлением перевода в тыл из действующей армии, Блок был официально зачислен в Чрезвычайную следственную комиссию на должность редактора стенографических отчетов.

Комиссия рассматривала деятельность бывших царских сановников, принадлежавших по «Табели о рангах» к первым трем классам – при этом на царя, его семью, а также на высших иерархов православной церкви эти полномочия не распространялись. В общей сложности было заведено примерно семьсот дел – под следствие попали четыре российских премьер-министра и почти два десятка министров, часть из которых была взята под стражу. Показания членам Комиссии давали товарищи министров и сенаторы, полицейские, жандармские чины, генералы, общественные деятели – от черносотенных депутатов Государственной думы до руководителя партии большевиков Владимира Ульянова (Ленина). Дело оказалось живым, интересным, однако работа с материалами допросов считалась секретной и оглашению не подлежала.

Поэт, конечно же, не голодал. Прислуга сделала запасы разных круп и продовольствия, так что питался дома Блок вполне прилично – ел много мяса, яиц, хлеба, деревенского масла. Зато на службе для приличного обеда зачастую просто не находилось времени.

Иногда Блоку и другим сотрудникам Комиссии, в перерывах между беседами и допросами, удавалось под каким-нибудь благовидным предлогом снять «пробу» с того небогатого, но достаточно сытного рациона, которым кормили арестантов. Однако чаще всего целый день приходилось ограничивать себя чаем с булками и вареньем, который бывалые следователи и молодые секретари завели у себя прямо на работе – в одном из кабинетов Зимнего дворца.

Блок был официально зачислен в Чрезвычайную следственную комиссию

– Рекомендую вот сюда…

– Благодарю вас, Николай Константинович.

Небольшой ресторанчик, в который они заглянули, с некоторых пор располагался на Мойке, по соседству с последней квартирой Александра Сергеевича Пушкина, и был назван по лицейскому прозвищу Ивана Пущина,

близкого друга поэта, которому когда-то принадлежал этот дом.

– Проходите, присаживайтесь, господа!

Первые месяцы после падения самодержавия никого из жителей столицы еще не удивляло, что по дороге куда-нибудь можно вот так, запросто, зайти в одно из многочисленных кухонных или питейных заведений, сделать выбор и вкусно поесть.

Для делового завтрака было уже поздновато, а настоящее время обеда еще не пришло. Поэтому публики было немного: инженер министерства путей сообщения с дамой, пожилой иностранец в клетчатом пиджаке, похожий на журналиста или на шпиона, и артиллерийский штабс-капитан с Георгиевским крестом и Владимиром четвертой степени.

Инженер и его спутница вполголоса выясняли между собой отношения – продолжалось это, видимо, уже достаточно давно. Иностранец одну за другой перелистывал толстую пачку российских газет, которых теперь выходило великое множество. Офицер у окна пил из чайника запрещенный коньяк, то и дело подливая его в стакан с подстаканником и фаянсовым блюдцем. При этом он каждый раз для чего-то перемешивал коньяк тонкой серебряной ложечкой. Муравьев и Блок переглянулись – суровость нынешнего «сухого закона», подобно любому другому уложению в российской истории, была уравновешена его поголовным неисполнением…

Николай Константинович попросил проводить их подальше, к свободному столику в глубине зала – как и все гражданские мужчины, он немного побаивался фронтовых офицеров.

– Александр Александрович, сколько времени вы провели на войне? – поинтересовался Муравьев, когда официант, после короткого обсуждения, принял заказ и отошел на кухню.

Цены в ресторане, конечно же, отличались от довоенных – как, впрочем, и повсеместно. Насчет «продуктов» в Петрограде вообще становилось все хуже – белый хлеб почти пропал, фунт мяса стоил по два рубля сорок копеек, обыкновенная курица – семь рублей… Дрова также сильно подорожали.

– Двести восемь дней…

– Вот как?

– Я почти семь месяцев там валял дурака, считаю, что довольно.

– Ну, во всяком случае, здесь вы нужнее для новой России.

Подобная трактовка Николаем Константиновичем его по сути самовольного невозвращения на место службы поэта вполне устраивала – тем более что со времени окончания отпуска и до начала мая, когда все-таки был подписан приказ об откомандировании в состав Чрезвычайной комиссии, по законам военного времени Блока запросто могли привлечь к ответственности как дезертира.

– Между прочим, зачем вы вообще отправились на фронт?

Блок задумался и ответил:

– Чтобы быть честным перед собой и своими стихами.

– Простите? – переспросил собеседник.

В повседневном общении со знаменитым поэтом, который оказался у него в подчинении, Муравьев никогда не позволял себе ни высокомерного снисхождения, ни особенной требовательности. По убеждениям он считал себя «беспартийным марксистом», и никогда не пытался обратить Блока в свою веру – нужды в этом не было, так как политические взгляды поэта вполне соответствовали задачам и целям Комиссии. На городских выборах Александр Блок, после некоторых размышлений, из семи предлагавшихся списков подал голос за социалистический блок – то есть за эсеров с меньшевиками. И был очень рад, когда выяснилось потом, что швейцар, кухарка, многие рабочие тоже подали голоса именно за этот список…

Именно поэтому Блок ответил откровенно:

– Понимаете ли, Николай Константинович… Я ведь встретил войну всего лишь как очередную нелепость и без того нелепой жизни. Я любил Германию, немецкие университеты, поэтов, музыкантов, философов… и мне трудно было понять, почему народы должны сражаться в угоду своим властителям. Но, с другой стороны, людям чрезмерно впечатлительным, вроде художников и поэтов, показалось в начале войны, что она, образно говоря, очистит воздух, но казалось минуту, не более! В нашей русской поэзии тогда неожиданным образом обнаружился полный упадок – какая-то слабость соков, какая-то скудость энергии… Литературная атмосфера так и осталась в те дни, несмотря ни на что, неподвижной и затхлой…

Появился с подносом официант, так что собеседники почти сразу же приступили к закускам.

– Прочитал вчера ваш отчет о допросах за прошлый месяц… – сообщил Муравьев, положив себе второй кусок холодной осетрины. – А что вы, Александр Александрович, сами думаете по поводу тех, от кого нам приходится получать показания?

Блок помедлил с ответом.

– Полагаю, не следует преувеличивать персональное значение каждого из них.

Для чего, например, и за что была арестована фрейлина Анна Вырубова? При первом знакомстве с нею, которое состоялось в камере Петропавловской крепости, секретарь Комиссии увидел пышную даму за тридцать, которая стояла у кровати, подперев костылем изуродованное в железнодорожной катастрофе плечо. Она заведомо ничего важного сообщить не могла и показалась Блоку «блаженной потаскушкой и дурой». Но за это ведь, кажется, не отправляют в тюрьму? А что, если она и вправду – всего лишь наивная, преданная и несчастливая подруга императрицы? И не более чем фонограф для слов и внушений порочного «старца»?

Но, с другой стороны, – был еще председатель Совета министров Горемыкин, породистый, очень хитрый старик, который очень многое знает и не открывает. Или следующий российский премьер-министр Штюрмер – довольно мерзкая, большая и тоскливая развалина. Этого «старикашку на веревочке», как его однажды обозвал Распутин, сменил борец против «германского засилия во

власти» Трепов, на долю которого выпала непосильная задача – задать государственному кораблю твердый курс в ту минуту, кода буря уже началась. И который, конечно же, ничего не успел изменить за сорок восемь дней своего «премьерства». В результате Трепов пал, поверженный Протопоповым, которому удалось уловить его на предложении отступного все тому же Распутину, чтобы последний не мешался в государственные дела…

Сам же Протопопов, который «подсидел» предшественника, оказался, по впечатлениям Блока, человеком талантливым и при этом ничтожным. Монархистом, которому с первых шагов удалось возбудить к себе нелюбовь и презрение общественных и правительственных кругов, и который принес к самому подножию трона весь истерический клубок своих личных чувств и мыслей…

Перед внутренним взором поэта стремительным калейдоскопом промелькнула галерея персонажей, с которыми довелось ему пообщаться за время работы в Комиссии.

Старый аристократ князь Голицын, последний премьер-министр, давно стоявший к моменту своего назначения вдали от всяческих государственных дел… Последний военный министр Беляев – в сущности, очень порядочный человек, сыгравший большую роль в февральских событиях… Или генерал-адъютант, адмирал Нилов, старый морской волк и пьяница, грубость и прямота которого вызывали почти симпатию. Он оказался последним, кто откровенно говорил с царем о роковой роли «старца» Распутина, но в результате, получив отпор, смирился, и потом повторял лишь одно: «Будет революция, нас всех повесят, а на каком фонаре, все равно». Были допрошены также барон Фредерикс, многолетний министр императорского двора, временами, казалось, совсем выживающий из ума. И его зять, дворцовый комендант генерал-майор Воейков – ничтожное существо, о котором Блок в своих заметках написал, что этот человек «убог умом и безличен, как и его язык, приправленный иногда лишь хвастливыми и пошловатыми гвардейскими словечками…». Единственное, что мог Воейков сообщить следователям, – это ряд анекдотов и фактов, интересных в бытовом отношении; однако обобщить что бы то ни было он оказался не способен.

Редактировать их показания поэту было противно и интересно одновременно. Придворные помои, гнусные сенсации, жизнь подонков самого высшего общества во всей ее наготе…

Большинство из тех, кто представал перед Чрезвычайной следственной комиссией, изображали дело так, будто в «политику» не вмешивались. Когда председатель Комиссии спрашивал, что именно они понимают под политикой, все отвечали, что «политика» была делом императора, императрицы и… Григория Распутина. При этом сам пресловутый «старец» не мог быть привлечен к следствию по причине того, что был убит еще в минувшем декабре.

– Это просто какой-то печальный паноптикум… – Блок промокнул салфеткой рот. – Впрочем, я теперь вижу их только в горе и унижении. Но я не видел их до революции, в недосягаемости положения, в блеске власти. К ним надо относиться с величайшей пристальностью, в сознании страшной ответственности.

– Вы так полагаете?

– Николай Константинович, я ведь вполне отдаю себе отчет в том, что находимся мы между наковальней закона и молотом истории. Положение весьма революционное… и не вызывает сомнения, что Комиссия наша, отработав весь материал, какой она получит, должна будет представить его на разрешение представителей народа.

Появился официант и убрал со стола использованные приборы.

– Продолжайте, пожалуйста, – предложил собеседник.

– Следственная комиссия в определении своем носит понятие чрезвычайности. Поэтому и отчет должен быть чрезвычайным. Он должен соединять в себе деловую точку зрения с революционным призывом. Отчет, пользующийся тщательно проверенным материалом, добытым в течение работы комиссии, должен быть проникнут с начала до конца русским революционным пафосом, который отразил бы в себе всю тревогу, все надежды и весь величавый романтизм наших дней…

– С вами сложно не согласиться, Александр Александрович. Направление мыслей у вас очень правильное. И вполне своевременное. Судя по всему, Чрезвычайная следственная комиссия изживает свой век, и будет очень хорошо, если закончится она естественным путем… – Муравьев покачал головой.

– Я имею в виду, что естественным пределом ее работы станет созыв Учредительного собрания, которому и предстоит решить вопрос о политической и исторической целесообразности предоставления в широкий доступ наших материалов.

– Да, возможно, – Александр Блок пожал плечами. – Однако же, Николай Константинович, вы ведь сами докладывали недавно, на Съезде Советов, о положении нашей работы…

Возвратился официант с большим подносом, так что в скором времени собеседники уже наслаждались ароматной и сочной куриной котлетой.

– Александр Александрович, а каковы ваши собственные прогнозы на политическое будущее России? Поэты ведь, как известно, и чувствуют тоньше, и видят сквозь время…

Блок испытующе посмотрел на Муравьева. И только убедившись, что вопрос задан не просто для поддержания разговора, и что собеседник по-настоящему интересуется его мнением, ответил:

– Несмотря на то, что положение России сейчас критическое, я продолжаю, в общем, быть оптимистом… чего даже сам себе не могу объяснить. Наша демократия в эту минуту действительно «опоясана бурей», но обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном, и в мелком каждый день. Без сомнения, содержанием всей современной нам жизни становится всемирная революция, во главе которой стоит Россия. А мы сами так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от трехсотлетней болезни самодержавия. Говоря по совести, после нескольких месяцев пребывания в Петрограде я несколько притупился к событиям, утратил способность расчленять, в глазах пестрит. Наверное, это следствие утраты революционного пафоса – и не только личного, но и вообще…

– Что вы имеете в виду? – уточнил Муравьев.

– Видите ли, Николай Константинович… – замялся Блок. – Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Правые, и кадеты, и беспартийные, пророчат Наполеона, причем одни Первого, другие – Третьего. В городе, однако, больше признаков русской лени, и лишь немногие парижские

сценки из времен Коммуны. Те, кто свергал правительство, частью удрали, частью попрятались. Бабы в хвостах дерутся. Какие-то матросы из Кронштадта слоняются по улицам с ружьями… да, в общем, много такого, сами видите.

– Ну, так и что же тут удивительного? – улыбнулся товарищ министра юстиции.

– С моей точки зрения, задача Временного правительства – удерживая качели от перевертывания, следить, однако, за тем, чтобы размах колебания не уменьшался. То есть довести нашу двинувшуюся в путь страну до того места, где она найдет нужным избрать оседлость. И при этом вести ее все время по краю пропасти, не давая ни упасть в эту пропасть, ни отступить на безопасную дорогу, где Россия, конечно же, затоскует в пути, и где дух революции отлетит от нее.

– Красиво сказано. Образно… – отметил Муравьев.

– Хотя вообще-то я чувствую: музыка времени усложняется. Но ведь и вся жизнь наших поколений, жизнь так называемой просвещенной Европы – не больше, чем бабочка около свечи… Я с тех пор, как сознаю себя, другого и не видел, я не знаю середины между прострацией и лихорадкой, – Блок отложил нож и вилку. – Этой серединой, наверное, будет старческая одышка, особый род головокружения от полета, предчувствие которого у меня уже давно было…

– Сочиняете сейчас что-нибудь поэтическое? – Муравьев понимающе покачал головой.

– Нет.

– Очень жаль, – огорчился Николай Константинович. И процитировал Блока по памяти:

Идут века, шумит война,

Встает мятеж, горят деревни,

А ты все та ж, моя страна,

В красе, заплаканной и древней…

Это было приятно, однако поэт покачал головой:

– Знаете, я перед уходом на войну вдруг решил, что стихи мне писать не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо было мне самому тогда категорическим образом измениться, или чтобы все вокруг изменилось, чтобы вновь получить возможность преодолевать материал…

Десерт заказывать не стали, но попросили кофе по-турецки, хотя в некоторых заведениях его теперь называли иначе – «кофе по-армянски», потому что русские воевали с турками на Кавказском фронте, и так звучало более патриотично. В ожидании официанта насытившегося Николая Константиновича потянуло на политические обобщения:

– Если можно так выразиться, старая русская власть делилась на власть безответственную и ответственную. Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом… – Он поправил пенсне. – Такой порядок государственного устройства требовал людей, твердо верующих в божественное происхождение монархии, мужественных и честных.

Блок почти автоматически открыл блокнот для стенографических записей, с которым теперь на работе не расставался. Собеседник покосился на него и продолжил:

– Как вы и сами вполне справедливо заметили, всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы, и это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Отчего же? Да оттого, любезный Александр Александрович, что безвластие сверху уравновешивалось равнодушием снизу! Русская власть находила опору в исконных чертах нашего народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым и оказалась война…

Муравьев сделал эффектную паузу, которая обыкновенно производила впечатление на присяжных заседателей:

– Надо помнить, однако, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких, чем принято думать, и чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» – понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом» – скорее, просто неожиданностью! Как крушение поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома…

– Я понимаю, – согласился Блок. – Революция предполагает волю – так было ли действие воли?

– Было. – Николай Константинович на секунду задумался и добавил: – Со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю только, была ли это революция?

…После кофе председатель Следственной комиссии рассчитался – разумеется, за обоих, категорически не принимая возражений, – и они с Блоком, выйдя из ресторана, повернули по Мойке к Большому Конюшенному мосту, от которого было рукой подать до Дворцовой набережной.

– Красота какая… – восхитился интеллигентный москвич Муравьев.

И действительно, река была сегодня хороша – темно-синие волны, небольшой ветерок и рассыпанные по воде блики солнца. Александр Блок с благодарностью улыбнулся. Как-то в самом начале войны он впервые прокатился вверх по Неве на пароходе и убедился, что Петербург, собственно, только в центре еврейско-немецкий. Окраины его были по-настоящему грандиозные и очень русские – и по грандиозности, и по нелепости, с ней соединенной. Собственно, уже за Смольным начинались необозримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы и неторопливые буксиры с именами «Пророк» или «Богатырь».

– Следует иметь в виду, что скоро могут остановиться железные дороги – угля нет, – сообщил своему спутнику председатель Чрезвычайной следственной комиссии. – Пока об этом говорят большей частью правые, вроде господина Родзянко и прочих, но на это есть реальные основания.

– Да, тяжелое положение, – согласился поэт. – Вот, представляете, Николай Константинович… последнее письмо от мамы, из Шахматово, опять шло шесть дней! Нет, я на это, как и на многое подобное, не склонен раздражаться, потому что революция, однако…

– Нечего удивляться, если письма будут опаздывать, а может быть, даже и пропадать. Во всех ведомствах сейчас почти одно и то же – выгнали много опытных чиновников, которые штрафовали, были строги и требовательны… – Муравьев повернул лицо к солнцу, наслаждаясь прекрасной июльской погодой:

– Если пролетариат будет иметь власть, то нам придется долго ждать «порядка». А может быть, нам и не дождаться. Но пусть будет у пролетариата власть, потому что сделать эту старую игрушку новой и занимательной могут только дети…

* * *

Следственные действия члены Комиссии производили обычно в зале Зимнего дворца или в Петропавловской крепости, в старом Комендантском доме, где когда-то допрашивали декабристов.

Однако в тех случаях, когда не требовалось составления официального протокола, Николай Константинович Муравьев предпочитал общаться с арестованными лицами прямо в камерах.

По характеру службы секретарю Чрезвычайной следственной комиссии Александру Блоку приходилось теперь видеть и слышать то, чего обыкновенно почти никто не видит и не слышит, и что немногим вообще приходится наблюдать раз в сто лет. Нервы и мозг его находились в постоянной работе, а дело, которым ему пришлось заниматься, оказалось весьма интересным, но трудным, и отнимало у него чрезвычайно много времени и все силы.

Блок в 1917 году

«Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед…» – писал Блок матушке в имение.

Например, как-то за день ему пришлось обойти с Муравьевым восемнадцать камер подряд – в первую очередь для того, чтобы согласовать отредактированные протоколы допросов. Сначала они посетили царского военного министра Сухомлинова, потом пошли к его жене, обвинявшейся в шпионаже, про которую Блок записал, что она «стерва», и что ее он бы точно «повесил, хотя смертная казнь и отменена». После них были старикашка Штюрмер, Протопопов, Маклаков… затем «гадкий» Курлов, убежденный черносотенец Дубровин с «погаными глазами»… генеральша Ольга Лохтина… несчастная фрейлина Вырубова, которая жаловалась на издевательства и унижения со стороны солдат, которые плевали ей в тюремную еду…

Дворцовый комендант Воейков оказался существом ничтожным, охотно давшим показания по всем вопросам. Еще меньше понравился Блоку пресловутый князь Андронников – мерзкий тип с пухлым животиком и сальной мордой. Помнится, с появлением посетителей князь угодливо подпрыгнул, чтобы затворить форточку, но до форточки каземата не допрыгнешь, так что получилось неловко. Однако особенно поразил тогда секретаря Комиссии жандармский полковник Собещанский, который ранее присутствовал при казнях, а теперь стал похож на жалкую больную обезьяну…

Но вот последний царский военный министр Беляев, министр внутренних дел Макаров, директор департамента полиции Климович и вице-директор департамента Виссарионов, как ни странно, произвели на Блока впечатление умных и честных чиновников. Они вели себя на следствии довольно смело и с большим достоинством – в отличие от своего коллеги Кафафова, несчастного восточного человека с бараньим профилем, который постоянно дрожал и плакал, что сойдет с ума в тюремных стенах… очень глупо и жалко.

Под конец дня Блоку пришлось еще сопровождать по Петропавловской крепости легендарного террориста, народовольца Морозова, которому непременно хотелось найти остатки того равелина, в котором он когда-то просидел почти

три года. И еще дожидаться потом завершения заседания крепостного гарнизонного комитета, на котором Николай Константинович Муравьев не без успеха улаживал очередной скандал между солдатами и Временным правительством…

Так что на этот раз председателя Чрезвычайной следственной комиссии и его секретаря солдаты крепостного гарнизона проводили прямо в Трубецкой бастион, где содержался арестант Белецкий.

Впервые Александр Блок увидел отставного директора департамента полиции 12 мая здесь же – в Петропавловской крепости, куда Белецкого доставили в самые первые дни демократической революции. При начале знакомства он произвел на поэта впечатление деловитого, умного, но не образованного и не слишком культурного человека. Блок обратил внимание на короткие пальцы Степана Петровича, на его желтые руки и маслянистое лицо простолюдина и на неопрятную седину – и только впоследствии, перехватив пару раз острый, черный взгляд его припухших глаз, удостоверился, что в действительности этот полицейский чиновник умен, изворотлив, хитер, и никому и ни во что не верит. Блок также заметил, что Белецкий, в отличие от большинства других сановников и генералов, умеет вовремя остановиться и говорит только то, что приходится говорить по необходимости, и что за время следствия он рассказывал многое, но так и не признался ни в чем… Одним словом, недаром в свое время это был выдающийся директор департамента полиции, едва ли не ставший обер-прокурор синода.

– Я могу посмотреть еще раз? Чтобы, так сказать, удостовериться окончательно?

– Извольте… – Николай Константинович взял со стола несколько листов бумаги с отпечатанным текстом и протянул их подследственному.

Одиночная камера, в которой содержался Белецкий, была довольно просторной – шагов десять по диагонали и поперек в пять-шесть шагов. Солнечные лучи попадали в нее только по вечерам, при заходе солнца, да и то лишь на подоконник, поэтому в камере постоянно царил полумрак и стояла какая-то нездоровая сырость. Керосиновая лампа горела практически круглые сутки, а глазок в двери оставался на ночь открытым для наблюдения за заключенным. Каменный пол «одиночки» был выкрашен в затертый желтый цвет. Обстановку камеры составляли привинченный к полу стол и нары, умывальник, а также параша. Сантехнический фаянс имел довольно сносный вид и был подключен к

водопроводу, однако умывальный и смывной бачки располагались в коридоре, так что подавать воду или нет, решал тюремный надзиратель…

Сегодня в одиночке у Белецкого оказалось тесновато. Из-за того, что единственный стул занял секретарь Чрезвычайной следственной комиссии Блок со своими бумагами и рабочим блокнотом, самому обитателю камеры пришлось расположиться прямо на постели, аккуратно заправленной одеялом. Одет он был в синий тюремный халат со стоячим воротником, из-под которого виднелись серые подштанники, заправленные в сапоги. Николай Константинович Муравьев, как обычно, предпочитал стоять лицом к тюремным нарам, и спиной к окну. Возле приоткрытой двери курили, выпуская в коридор вонючий дым от папиросы, еще два товарища в военной форме – представитель солдатского комитета и дежурный надзиратель, которым было поручено на всякий случай наблюдать за происходящим.

…Степан Петрович неторопливо изучил бумаги:

«…Так как в настоящее время уже не представляется сомнений в том, что Государственная Дума при поддержке так называемых общественных организаций вступает на явно революционный путь, ближайшим последствием чего, по возобновлении ее сессии, явится искание ею содействия мятежно настроенных масс, а затем ряд активных выступлений в сторону государственного, а, весьма вероятно, и династического переворота, надлежит теперь уже подготовить, а в нужный момент незамедлительно осуществить ряд совершенно определенных и решительных мероприятий, клонящихся к подавлению мятежа, а именно:

I. Назначить на высшие государственные посты министров, главноуправляющих и на высшие командные тыловые должности по военному ведомству (начальников округов военных генерал – губернаторов) лиц, не только известных своей издавна засвидетельствованной и ничем непоколебленной и незаподозренной преданностью Единой Царской Самодержавной власти, но и способных решительно и без колебаний на борьбу с наступающим мятежом и анархией; в сем отношении они должны быть единомышленны и твердо убеждены в том, что никакая иная примирительная политика невозможна. Они должны, кроме того, клятвенно засвидетельствовать перед лицом Монарха свою готовность пасть в предстоящей борьбе, заранее на сей случай указать своих заместителей, а от Монарха получить всю полноту власти.

II. Государственная Дума должна быть немедленно Манифестом Государя Императора распущена без указания срока нового ее созыва, но с определенным упоминанием о предстоящем коренном изменении некоторых статей (86, 87, 111 и 112) Основных Законов и Положений о выборах в Государственный Совет и Думу.

III. В обеих столицах, а равно в больших городах, где возможно ожидать особенно острых выступлений революционной толпы, должно быть тотчас же фактически введено военное положение (а если нужно, то и осадное) со всеми его последствиями до полевых судов включительно.

IV. Имеющаяся в Петрограде военная сила в виде запасных баталионов, гвардейских, пехотных полков представляется вполне достаточной для подавления мятежа; однако, баталионы эти должны быть заблаговременно снабжены пулеметами и соответствующей артиллерией. В Москву должны быть отправлены некоторые из этих же баталионов, а в столицы и в крупные центры, кроме того, поставлены те из имеющихся запасных кавалерийских частей, кои являются наиболее способными.

Все находящиеся в отпусках или командировках, либо числящиеся эвакуированными офицеры гвардии должны вступить в ряды своих баталионов.

V. Тотчас же должны быть закрыты все органы левой и революционной печати и приняты все меры к усилению правых газет и к немедленному привлечению на сторону правительства хотя бы одного из крупных умеренных газетных предприятий.

VI. Все заводы, мастерские и предприятия, работающие на оборону, должны быть милитаризированы с перечислением всех рабочих, пользующихся так называемой отсрочкой, в разряд призванных под знамена и с подчинением их всем законам военного времени.

VII. Во все главные и местные комитеты союзов земств и городов, во все их отделы, а равно во все военно-промышленные комитеты и во все содержимые сими учреждениями заведения, мастерские, лазареты, поезда и проч. должны быть назначены в тылу правительственные комиссары, а на фронт коменданты из эвакуированных офицеров для наблюдения за расходованием отпускаемых казною сумм и для совершенного пресечения революционной пропаганды среди

нижних чинов со стороны личного состава, который должен быть подчинен указанным агентам правительства.

VIII. Всем генерал-губернаторам, губернаторам и представителям высшей администрации в провинции должно быть предоставлено право немедленного собственной властью удаления от должности тех чинов всех рангов и ведомств, кои оказались бы участниками антиправительственных выступлений, либо проявили в сем отношении слабость или растерянность.

IX. Государственный Совет остается впредь до общего пересмотра основных и выборных законов и окончания войны, но все исходящие из него законопроекты впредь представляются на Высочайшее благоусмотрение с мнением большинства и меньшинства. Самый состав его должен быть обновлен таким образом, чтобы в числе назначенных по Высочайшему повелению лиц не было ни одного из участников так называемого прогрессивного блока…»

– Да, мне известен этот документ.

– Здесь отсутствует подпись, – Муравьев указал Белецкому на последний лист.

– Это записка с планом неотложных мер спасения самодержавия, – спокойно пояснил Степан Петрович. – Она была составлена в кружке Римского-Корсакова еще во времена премьер-министра Штюрмера.

– Что это за кружок? – уточнил Николай Константинович. – Для протокола…

– Как я уже показывал на предыдущем допросе, это небольшое закрытое общество убежденных монархистов, которое возглавлял в мое время сенатор Александр Александрович Римский-Корсаков, один из руководителей Союза русского народа.

– Они имели какое-то политическое влияние на царя и его окружение?

– По-моему, нет. – Белецкий выдержал паузу. – Однако департамент полиции был обязан присматривать и за правыми, и за левыми политическими движениями…

– Вам известна дальнейшая судьба записки?

– Насколько я знаю, премьер-министр так и не подал ее государю, опасаясь, что она не отвечает либеральному настроению при дворе. Записка была вторично отпечатана и передана князю Голицыну, который все-таки передал ее царю от себя, но уже в ноябре прошлого года.

– Вы понимаете, что это, по существу, точный план монархического переворота?

Бывший полицейский чиновник промолчал. Блок посмотрел на него и заметил, что Белецкий как-то неожиданно сильно потеет – то ли от волнения, то ли из-за того, что в камере было по-настоящему жарко.

– Лично вы разделяете монархические убеждения? – не дождавшись ответа, продолжил Николай Константинович.

– Я не разбираюсь в политике, – покачал головой Белецкий. – Я просто выполнял свою работу.

– Ну-с, допустим. – Николай Константинович взял у него документы и положил их на стол. Потом кивнул Блоку. – Александр Александрович, записывать сегодня больше ничего не нужно.

Он опять обернулся к подследственному:

– Степан Петрович, как, не возражаете, если мы еще немного просто побеседуем? Без протокола?

– Отчего же не поговорить? – пожал плечами Белецкий. – Всегда пожалуйста…

– А вы не возражаете, товарищи? – на всякий случай обернулся к двери председатель Чрезвычайной следственной комиссии.

– Валяйте… – переглянувшись с надзирателем, разрешил представитель солдатского комитета. Особенных инструкций, как себя вести, ему не дали, а до ужина и до вечернего заседания было еще далеко.

– Скажите, Степан Петрович, вот, по вашему мнению… – в очередной раз поправил пенсне Муравьев, – в какой степени департамент полиции был осведомлен о подготовке революционных выступлений в Петрограде?

– Я полагаю, что хорошо осведомлен… постоянных секретных сотрудников в рабочей среде департамент полиции имел вполне достаточно.

– А в армии?

– Разумеется, настроения в армии также не могли не вызывать беспокойства, – кивнул Белецкий. – Мне известно доподлинно, что господин Протопопов, который не доверял сведениям контрразведки, хотел восстановить в войсках постоянную секретную агентуру, уничтоженную еще в тринадцатом году. О чем и докладывал царю. Несмотря на высочайшее согласие, департамент полиции не успел завести постоянных сотрудников в армии, однако сведений к нам и без этого поступало достаточно.

– Почему же полиция все-таки не приняла меры к предупреждению народных выступлений?

– Отчего же не приняла? – с некоторой профессиональной обидой ответил Белецкий. – Непосредственным результатом этого стал арест так называемой Рабочей группы, который состоялся, если мне память не изменяет, в конце января. Об этой ликвидации охранное отделение составило секретный доклад, мне его предъявляли на первом допросе… В этом докладе указывается, что представители группы организовали и подготовляли демонстративные выступления рабочей массы столицы на 14 февраля, с тем, чтобы заявить депутатам Думы свое требование незамедлительно вступить в открытую борьбу с ныне существующим правительством и верховной властью. И признать себя впредь до установления нового государственного устройства временным правительством… Материал, взятый при обысках, насколько мне известно, вполне подтвердил изложенные сведения, вследствие чего переписка по этому делу была передана Прокурору Петроградской судебной палаты. Кроме того, были обысканы и арестованы четыре члена пропагандистской коллегии Рабочей группы, у которых достаточного материала для привлечения их к судебной ответственности не было обнаружено. Тем не менее они были признаны лицами, безусловно, вредными для государственного порядка и общественного спокойствия, и департаментом было предложено выслать их из Петербурга под гласный надзор полиции.

– Что же, по-вашему, послужило непосредственным поводом для выступлений?

Белецкий ответил, казалось, почти не раздумывая:

– В Петрограде внезапно распространились слухи о предстоящем, якобы, ограничении суточного отпуска выпекаемого хлеба – взрослым по фунту, малолетним в половинном размере. Это вызвало усиленную закупку публикой хлеба, очевидно, в запас, почему части населения хлеба не хватило. На этой почве двадцать третьего февраля вспыхнула забастовка, сопровождавшаяся уличными беспорядками. Правительству в ответ пришлось принять решительные меры, поэтому в ночь на двадцать шестое февраля было арестовано около ста членов революционных организаций, в том числе пять членов Петроградского комитета Российской социал-демократической партии. Тогда же, на собрании в помещении Центрального военно-промышленного комитета были арестованы еще два члена Рабочей группы, ранее избегнувшие задержания…

С точки зрения Блока, успевшего поработать с материалами Чрезвычайной следственной комиссии, департамент полиции при царе оставался единственно живым организмом, учитывавшим внутриполитическую ситуацию в России и степень ее опасности для разваливающегося государственного организма. Но умирающая власть не слышала, не могла, да и не хотела слышать тревожных докладов Охранного отделения, которые характеризовали общественное настроение. И это при том, что очень многие в придворном окружении считали, что самодержец обязан проявить свою волю и свою власть для подавления беспорядков. С их точки зрения, волнения солдат и рабочих Петрограда оказались огромной поддержкой кайзеру Вильгельму, и в Берлине, должно быть, царила вполне объяснимая радость…

Словно прочитав мысли Блока, председатель Следственной комиссии задал следующий вопрос:

– Степан Петрович, что вы лично думаете по поводу распространения в определенных кругах слухов о роли германской или австрийской разведок в свержении самодержавия?

– Видите ли, Николай Константинович… – умный Белецкий из самой постановки вопроса безошибочно догадался, какого именно ответа от него ожидают, и продолжал: – Господин Гучков сказал как-то, что даже если бы нашей

внутренней жизнью и жизнью нашей армии руководил германский Генеральный штаб, он не создал бы ничего, кроме того, что создала русская правительственная власть. И при этом, как стало известно полиции, еще весной шестнадцатого года Протопопов, бывший тогда товарищем председателя четвертой Государственной думы, имел в Стокгольме тайную беседу с советником германского посольства Варбургом. С той целью, чтобы нащупать почву для заключения мира…

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/filatov_nikita/roman-s-blokom

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити